в 1382 г.[47] Рассказ Троицкой летописи подвергся переделке в «Новгородско-Софийском своде», легшем в основание С1Л и Н4Л. Здесь помещено развернутое повествование об осаде и обороне города. Тенденции рассказа несколько противоречивы. Рассказчик, как мы уже упоминали, именует горожан, оборонявших город в отсутствие князя, «крамольниками» и «мятежниками». Но, стремясь не только сообщить об осаде, но и изобразить ее, он вводит ряд живых эпизодов и обращается для этого к рассказам очевидцев. Среди таких эпизодов — рассказ о московском суконнике Адаме, который, увидев с городской стены «единаго татарина нарочита и славна», выстрелом из самострела «уязви сердце его гневливое».[48] Дальнейшей обработке рассказ о нашествии Тохтамыша подвергся в Московском своде 1479 г. в Ермолинской летописи: рассказ Ермолинской летописи оказался наиболее свободным от риторики первоначальной версии и наиболее динамичным по изложению из всех рассказов об осаде Москвы в 1382 г.[49]

С конца XV в. летописание подверглось значительной унификации; официальная великокняжеская (а затем царская) летопись почти совершенно вытеснила остальные летописи. Сосуществование различных политических направлений в летописании стало невозможным, но противоречия между различными типами повествования обнаруживаются и в летописании XVI в. Склонность к идеализации, панегирическому стилю (особенно при описании деятельности монархов) была весьма свойственна летописям XVI в. — Воскресенской, Никоновской, Лицевому своду; однако рядом с пышными церемониальными сценами мы встречаем в летописях и конкретные описания с выразительными (и не только документальными) деталями.

Взаимодействие и борьбу этих двух повествовательных систем можно проследить, например, в многочисленных редакторских переделках рассказа о смерти Василия III — одного из самых драматических рассказов в летописании XVI в. В первоначальной версии рассказа, созданной уже в 1534 г. (С2Л по Воскресенскому списку), подробно описывалась болезнь Василия («Мала болячка на левой стороне на стегне... в булавочную голову», приведшая к заражению крови), его разговор с врачом Николаем Булевым, прямо сказавшим государю, что его болезнь «непособная (неизлечимая)», колебания Василия, хотевшего послать за сыном и боявшегося испугать трехлетнего Ивана: «Не хощу послати по сына своего..., понеже сын мой мал, а яз лежу в великой своей немощи, и нечто бы мене дрогнул сын мой». Так же человечны и психологически естественны и другие слова и поступки умирающего князя — его попытка скрыть тяжесть своей болезни от молодой жены, которая так «кричала», что Василий не успел ей «ни единого слова наказати», разговор с братом о последних днях жизни их отца (Ивана III).[50] Рассказ о смерти Василия III был совершенно изменен в своде 1542 г., созданном во время «боярского правления» (Воскресенская летопись). Удалив упоминания о великой княгине (незадолго до того отравленной Елене Глинской), летописец заодно опустил все конкретные подробности последних дней Ва-

---

[47] М. Д. Приселков. Троицкая летопись. М.—Л., 1950, стр. 422—425 (источник реконструкции — ПСРЛ, т. XVIII, стр. 131—133, а также ряд цитат у Н. М. Карамзина).

[48] ПСРЛ, т. IV, СПб., 1848, стр. 84—89; т. IV, ч. I, Пгр., 1914, Л., 1925, стр. 326—336; т. VI, СПб., 1853, стр. 98—102.

[49] ПСРЛ, т. XXIII, СПб., 1910, стр. 127—129. Ср.: Истоки русской беллетристики, стр. 268—269.

[50] ПСРЛ, т. VI, стр. 267—276.